



**Ор. Ф. МИЛЛЕР**

## **Об отношении русской литературы к Петру Великому**

(Читано на студенческом вечере 9 февраля 1873 г.).

Нынче минуло ровно 54 года со дня учреждения нашего университета. Но первоначальная мысль о нем родилась несравненно раньше. Она неразрывно сливалась с мыслью об академии в голове того великого русского человека, которого 200-летнюю годовщину отпраздновали мы прошлой весной. Но мысли этой, как и многим мыслям Петра, приходилось долго оставаться неосуществленною. Дело, кипевшее в его могучих руках, — чуть, не стало его, подверглось опять задержкам и, что хуже того, искажениям. Разом не стало того гениального пониманья народных нужд и настоящих народных качеств, того понимания, в котором заключалась вся сила Петра. Действительно, совершая свое великое дело, он опирался не только на тех немногих представителей мысли из высшего духовенства, которые сразу обратили проповедническую кафедру, остававшуюся так долго чуждою всяких земных попечений, в трибуну политически-просветительного учительства. Не одни Феофаны Прокоповичи сразу постигли Петра, говоря: «Мнози царие тако царствуют, яко простой народ дознатися не может, что есть дело царское; ты един показал еси дело сего превысокаго сана быти собрание всех трудов и попечений, разве что и преизлишше твоего звания являеши нам в царе и простаго воина, и многодельнаго мастера, и многоименитаго деятеля». С не менее благодарным сочувствием понят был Петр и известною частью народа. Что, как не подобное понимание, видим мы у знаменитого современника его из крестьян, Посошкова, относившегося с таким глубоким почтением к его государственному работничеству и сетовавшего только о том, что «великий наш монарх...

на гору аще и сам-десять тянет, а под гору миллионы тянут», или что «нет у великаго государя прямых радетелей, но все судьи криво идут». Откровенно высказываясь перед ним, государем — своим человеком, он не скрывал от него того страха, который его обнимал при мысли о «тянущих вниз», о тех чужеродных, противных народному духу, кого разумел он под именем «сильных». — «У нас на Руси неправда вельми застарела...» — «Кто с кого сможет, тот того и давит», говорил он царю, вызывая на самые жестокие меры не только исправительную дубинку, но и беспощадно-разящий топор, и своими приветственными отношеньями даже к пытке свидетельствуя о том, что самая кровавая сторона государственного перестроения соответствовала огрубелости нравов и понятий народных. Но вместе с сознанием застарелой неправды, мы видим и сознание векового невежества, заставляющее Посошкова вполне сочувствовать заимствованиям всего доброго — откуда бы ни было, только бы не попасть при этом под опеку своих образцов и учителей, чего постоянно остерегался и Петр Великий. Откровенно сознаваясь и в том, что самое, благочестие, которым так любила хвалиться старая Русь, стало, наконец, обращаться в один пустой звук, так как, имея «лет, под шестьдесят и больше своего жития», многие «у отцов духовных на исповеди не бывали», и мраком окончательного невежества покрывалось и большинство самого духовенства; — Посошков, ни мало не уступая в решительности и прямом поспешении к цели Петру, говорил: «Буде некоторые отцы добром в школы отпустить (т. е. своих детей) не похотят, то брать бы их и неволею». Но если, таким образом, оказывалось возможным полнейшее соответствие между волею государя и сокровенными стремлениями, известной, части народа, то откуда же мнение, что Петр совершал свое великое дело наперекор ему, что он долго оставался между своими вполне одиноким, чудесно творил из ничего? Мнение это развилось под влиянием той литературной школы, которая разучилась видеть вещи в их настоящем свете; создала, вместо мира действительного, свой особенный мир чудес с сверхчеловеческими личностями — героями или людьми-богами...

Он Бог, он Бог твой был, Россия! —

первый сказал о Петре Ломоносов; и то же повторялось за ним целым рядом последователей, к постоянно-усиливавшемуся соблазну писателей из раскола, с которым простой человеческий взгляд самого Петра, чуждый всякой религиозной нетерпимости, мог бы так легко помириться на многом. Между тем, среди

всевозможных надутых похвал Великому, дело его не шло далее, или шло совершенно не так, как задумал он, извращалось, уродовалось. Вместо делового сближения с Западом, вместо стремления — поскорее догнать его в упорном труде и, наперстав потерянное, дойти и до самостоятельности, явилось скороспелое усвоение одной внешности, гоньба, вместо дела, за призраками и малодушное подчинение самодовольно-своекорыстной опеке учителей. Отталкивавшее Петра суеверное увлечение всем своим, начиная с наряда, сменилось столь же суеверным увлечением всем чужим, т. е. всеми принадлежностями чужой внешности; вместо усвоения себе европейского трудолюбия и умелости, мы удовольствовались одним перевозом к себе готовых европейских плодов. Вместе с приобретением знаний, приучающим к собственному умственному труду, началась пересадка готовых учений, готовых направлений литературных, оказывавшихся иногда совершенно несоответствующими нашей действительной жизни, нашему моменту развития. Когда, в эпоху Екатерины II, модное увлечение энциклопедистами, с одной стороны, оставалось только фразою, с другой — даже и в случае действительного усвоения их начал, не могло бы оказаться настоящим врачевством от наших недугов, когда многие из этих последних только более и более усиливались и страшно выглядывали из-под блестящей, удивлявшей Европу внешности, тогда некоторые умы в России, как Фонвизин и особенно Новиков, стали разочаровываться в самых следствиях европейской образованности и не без сочувствия оборачиваться к себе, к домашним началам, к стихиям, существовавшим в старой Руси, но задержанным в своем дальнейшем развитии. Между тем, они вовсе не простирали своего отрицания на самое дело Петра, а продолжали видеть в нем сеятеля просвещения, без которого не мог быть положен конец застою, вредному и при самых лучших началах. Имя Петра оставалось неприкосновенной святыней.

Первым из выдающихся лиц Екатерининского времени, решившимся порицать Петра (и то не сразу — сначала он был сторонником его преобразований), является умный, но странный по путанице своих понятий, кн. М. М. Щербатов. Но в смелых его порицаниях так и слышится мутный источник, когда узкое сословное чувство заставляет его сетовать о том, что, благодаря Петру, «стали не роды почтенны, а чины и заслуги, и выслуги», и введена была «регулярная служба, в которую, вместе с холопами, писали на одной степени их господ в солдаты, и сии первые, по выслугам, пристойным их роду людям, доходя до

офицерских чинов, учинялись начальниками господ своих». И что же? Этот порицающий голос, при том же не совсем чистом источнике, был усвоен и нашим знаменитым историографом. Ревностно ратовав за Петра в своих «Письмах Русского Путешественника», Карамзин изменяет свой взгляд в «Записке о древней и Новой России», не без сетования говоря о том, что Петр «уничтожил достоинство бояр», которым народ поклонялся «с истинным уничижением», и стараясь доказать, что «личные подвижные чины не могут заменить дворянства родового, постоянного». Выступив против великого преобразователя, Карамзин дошел до того что стал уверять, будто бы «мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские...» «Деды наши, — говорил он, — уже в царствование Михаила, присвоивая себе многия выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин мира, а святая Русь — первое государство. Пусть назовут то заблуждением, но как оно благоприятствовало любви к отечеству и нравственной силе онаго». Дело в том, что Петр не понимал такой любви к отечеству и такой силы, которая основывалась на самообмане; что он считал такое самопоклонение и такую гордыню только верной порукою в нежелании выйти из пагубного застоя. Опираясь на сознание тех, которые, как Посошков, чувствовали всю глубину разъедавшей нас внутренней язвы, Петр принялся, не колеблясь, за те крутые меры, неотложности которых не мог понять Карамзин... Но, между тем, как историограф утверждал, будто бы «переменами Петра охлаждена в нас любовь к России»; другой, менее славный, но не менее ревностный писатель и деятель, проявлявший в своем «Русском Вестнике» твердую веру в русскую силу перед отечественной войной\*, заставлял говорить Петра: «Сыны России! Я оставляю вам пример мой и мои дела. Если, научась ремеслам и искусствам; вы обольститесь приманками роскоши европейской, вспомните только, чем занимался Петр. В роскошах ли, в забавах-ли провождал он жизнь свою?... Не для того странствую, не для того тружусь, чтобы исторгнуть Россию из России, но чтобы укрепить и вознести ее в ней самой». Между тем Карамзинское воззрение на Петра не заглохло. Оно (за исключением сословного оттенка) получило развитие у позднейших славянофилов, во всех других отношениях не представляющих ничего общего с Карамзиными И, конечно, самую слабую сторону составляет в учении их недодуманное

---

\* С. Н. Глинка<sup>1</sup>.

воззрение на Петра, как нарушителя стройного хода нашей истории, как на насильника и искажителя нашего народного склада и нрава. И в ожесточенных нападках на эту именно сторону их учения оказывались несомненно правыми литературные их противники, во главе которых, на поприще критики, является незабвенный Белинский. Неотразимым оказывается у него, в сущности чисто русского человека, тот довод, что если Петр мог один, хотя бы и всею силою своей власти, испортить дальнейший исторический ход своему народу, то хорошее же понятие это дает о русском народе! Между тем, еще значительно ранее спора из-за Петра между славянофилами и Белинским, наш гениальный поэт успел уже зорко подметить все то, что связывало богатыря-преобразователя с породившим его народом. Еще к 1826 г. относится вдохновенное свидетельство Пушкина о том, что

...правдой он привлек сердца...

что

...нравы укротил наукой  
И был от буйного стрельца  
Пред ним отличен Долгорукой.  
Самодержавною рукой  
Он смело сеял просвещение; —  
Не презирал страны родной:  
Он знал ее предназначенье.  
То академик, то герой,  
То мореплаватель, то плотник,  
Он всеобъемлющей душой  
На троне вечный был работник.

Тот же Пушкин обрисовал Петра устами только что вернувшегося из Парижа, офранцузившегося русского барича: «Государь — престранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс...». Когда же государь, искоса поглядев на него, на ассамблее, говорит ему: «У тебя платье-то, бархатное, какого и я не ношу, а я тебя гораздо богаче; это мотовство, смотри, чтобы я с тобой не побранился»; когда, на той же ассамблее, являются у него вместе с разрядившимися богато, по иностранному, нашими барами и нашим генералитетом в лентах, и простые голландские шкипера, и мастеровые в куртках, со своими женами, в незатейливых платьицах; когда мы видим

самого государя за шахматною доскою с английским шкипером, преисправно угощающими друг друга табачным дымом, — тогда, несмотря на это иностранное общество, несмотря на свое не русское платье, Великий не может не представиться нам лицом, гораздо более близким к народу, чем все московские наши цари при их византийском величии, с примесью позднейшего восточного склада. А если Пушкин, рисуя Петра и с величавой (в особенном смысле) его стороны, в образе всадника, на скачущем коне, представляет его «вздернувшим на дыбы Россию», то такое значение его державной узды окончательно объясняется, после всего остального, тем, что он, подобно служилому князю древней России, все делал сам; подобно любимому, богатырю народного эпоса, видел в избытке силы и избыток обязанности, а это-то и не могло, несмотря на всю грозность Петра, не действовать обаятельно на народ. Петр, употребляя выражение эпическое, царем на Руси служил, служил верой и правдой, бодро тянул тягло за одно с народом!

Замечу, в заключение, что осуждение петровских преобразований высказалось первоначально не в русской литературе. Не кто другой, как знаменитый Жан-Жак<sup>2</sup> стал утверждать (в своем «Общественном договоре»), что у Петра был «только подражательный гений», что он «помешал своим подданным когда-либо сделаться тем, чем бы они могли сделаться, уверив их, будто бы они то, чем они не могут быть». Не трудно заметить, что в этом взгляде проглядывает презрительное отношение к народу русскому: куда вам занять место в нашей семье; оставайтесь себе там, на востоке, с своими татарами! Имея в виду такой иностранный взгляд, умная Екатерина II сказала в начале своего «Наказа»: «Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобства, каких он и сам не ожидал». Представителями предубежденного иностранного взгляда не даром выставлены у Батюшкова<sup>3</sup> Монтескье и аббат Гуаско, в его «Вечере у Кантемира». Но вспомним, чтобы этим покончить, что говорит у него Кантемир, в ответе на их покачивание головою, при имени Петра Великого: «Петр утешал себя великою мыслию, что... древо наук будет процветать под тению его державы, и рано или поздно, но даст новые плоды и человечество обогатится ими...»

